

**Источник: Собрание сочинений в 5 т. Т.2**

**Дата выпуска: 1983**

**Заглавие: Смерть жирафовидного истукана**

**Автор: Г. Козинцев**

В начале 1951 года я узнал о смерти Валентина Парнаха. Я жил тогда в Москве, в квартире Эренбурга, где с раннего утра до позднего вечера не умолкали телефонные звонки; за одним из этих звонков последовал разговор, заставивший меня прислушаться,— я услышал знакомую фамилию человека, о котором шел разговор. Жена этого человека — поэтесса Валентина Парнаха просила помочь ей устроить его в какую-либо больницу, так как он опасно заболел.

Просьбу ее выполнить не успели: следующий звонок, раздавшийся через короткое время, сообщил, что в больницу уже устраивать никого не нужно, так как больной умер. Тон, которым жена умершего сообщила об этом событии, был вовсе не мрачен; моя сестра, с которой разговаривала теперь уже не жена больного, но вдова покойного, сказала мне, что тон был, как она выразилась, не только облегченный, но, можно даже сказать, веселый. Тон, которым обычно говорят о том, что все устроилось благополучно и даже к лучшему для всех. Русский глагол «отмучился».

В продолжение трех десятков лет я встречал Валентина Парнаха очень редко, может быть всего лишь четыре-пять раз, и вовсе не был с ним дружен, вернее сказать, я даже был мало знаком с ним и плохо знал обстоятельства его жизни. Фамилия его никогда не встречалась в газетах, не упоминалась на дискуссиях, никакие громкие дела и события не были связаны с его именем, и все же мне хочется записать то небольшое, что я могу вспомнить о нем, потому что какая-то грань эпохи выразила себя в этом, ныне умершем, человеке и грань эта уже никогда не будет вновь выражена и повторена в людях следующих поколений.

Уже давно известно, что эпоха выражает себя не только в величественном и героическом, не только в людях знаменитых, действовавших на основных, магистральных дорогах времени, но иногда в сущих пустяках, в характерах мелких и незначительных, в личностях странных и вовсе не примечательных ни своей жизнью, ни деятельностью, протекавшей на самых крохотных и далеких проселочных тропинках, по которым почти и не ходили люди.

Впрочем, а кто, собственно говоря, назначил нас судьями и дал нам права выносить оценку человеческой жизни, и не часто ли история вносит свои поправки, и то, что признавалось людьми одного поколения за мелкое и незначительное, превращается оценкой поколения следующего в величественное и героическое, и над людьми, безвестно и бесславно шагавшими по жизни, вдруг начинает светить ореол.

Если бы искусство имело свой список мучеников, если бы все те, кто отдал свои жизни этому призрачному занятию, кто сгорал на несуществующем огне воображаемых страстей, кто погибал безвестный от голода или преследований, если бы все эти, в большинстве случаев одинокие и нестроенные, люди, которых принято называть попросту неудачниками, имели бы надежды на возмездие в будущей жизни и почитание верующих в святость искусства, то Валентину Парнаху был бы обеспечен ореол. И можно было бы быть уверенным, что ныне он бродит среди спокойных полей, играет на арфе и что все радости рая уже вознаградили его за печальное существование среди нас. Потому что он был одним из того довольно малочисленного племени людей, для которого высшей верой были строчки стихов, кто готов был идти в бой за картину, кто сгорал страстью любви к прекрасному.

Прекрасное же мое поколение понимало по-своему. В 1922 году мне было 18 лет, я был одним из учредителей и руководителей странного учреждения, именуемого «Депю

эксцентриков». Собственно говоря, не было еще ни депо, ни эксцентриков, было несколько очень молодых людей, юношей, ненавидевших старое искусство (одной из причин этой ненависти было очень слабое знание этого старого «правого», как тогда говорили, искусства), страстно ищущих искусство новое, «современное», «левое». Была тут смесь бестолково усвоенного футуризма, любви ко всему яркому, быстрому, резкому, шумному — отрицание всего плавного, мягкого, гармонического — все это, по представлениям того времени, не выражало «ритма эпохи».

Был тут и смутно представляемый пафос урбанизма и индустрии, и инстинктивная любовь к новым родам искусства: кинематографу, плакату, всем низким жанрам театра.

Была и подлинная любовь к народному искусству. Все мы отлично знали и русские лубки, и всевозможные варианты действия о царе Максимилиане, и деревянные игруш-ки, и фантастические узоры старинных подзоров. Тут была и яркость, и грубость, и отсутствие ненавистной нам психологии.

В этом году я впервые увидел Валентина Парнаха. Он приехал только что из Парижа и привез мне от И. Эренбурга издаваемый им тогда в Берлине журнал «Вещь». Я увидел молодого еврея с очень худым веснушчатым лицом, кожа обтягивала худые скулы. У него был ястребиный нос и желтые глаза. Негустые, курчавые, рыжеватые волосы покрывали его голову. Был он тощ, нелеп и очень прозаичен.

Бывают еврейские лица, увидев которые, понимаешь, что Шагал реалист и что горбатый еврей, летящий в небе над Витебском, написан с натуры.

Внешность его вовсе не подходила к делу, которому он решил себя посвятить: Валентин Парнах приехал в СССР пропагандировать джазовую музыку...

«Поэты — жертвы испанской инквизиции». Поиски материалов иступленной поэзии XVI века и джаз. Соединение, возможное только для той эпохи. Луис де Гонгора и саксофон.

Интеллигенция всегда куда-то ходит. В народ, в монастырь, в себя.

Печорин и Парнах.

В чем истина? В чем красота? Красоту искали во вшах, но это был высший эстетизм.